

Росхальде

Автор:

[Герман Гессе](#)

Росхальде

Герман Гессе

Эксклюзивная классика (АСТ)

Когда талантливый именитый художник Йоханн Верагут покупал имение Росхальде, то надеялся обрести здесь семейное счастье и покой. Но надежды не оправдались: сейчас семилетний сын Пьер – единственное, что связывает супругов, давно ставших друг другу чужими. Верагут, переселившись в мастерскую, с головой погружается в творчество и проводит все время за эскизами и картинами. Его обособленный образ жизни нарушает приезд друга детства Отто Буркхардта с заманчивым предложением сменить обстановку и поехать погостить к нему в Индию...

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Герман Гессе

Росхальде

Hermann Hesse

ROSHALDE

© Перевод. Н. Федорова, 2020

© Издание на русском языке. ООО «Издательство АСТ», 2020

Глава первая

Десять лет назад, когда Йоханн Верагут купил Росхальде и переехал туда, то было заброшенное старое поместье с заросшими садовыми дорожками, замшелыми скамьями, ветхими лестницами и одичалым дремучим парком, и на участке примерно в восемь моргенов[1 - Морген - немецкая земельная мера (0,25 га). - Здесь и далее примечания переводчика.] стояли тогда лишь красивый, несколько обветшалый господский дом с конюшней да чуть поодаль, в парке, похожий на храм маленький павильон, двери которого из-за погнутых петель перекошились, а стены, некогда обитые голубым штофом, обросли мхом и плесенью.

После покупки именина новый владелец тотчас снес пришедший в ветхость храм, сохранил только десяток старых каменных ступеней, что вели от порога этого любовного гнездышка к берегу озерца. На месте паркового павильончика построили тогда мастерскую Верагута, и на протяжении семи лет он писал там картины и проводил большую часть своих дней, жил, однако, в господском доме, пока растущие раздоры в семье не вынудили его отослать старшего сына в иногородние школы, оставить большой дом жене и прислуге, для себя же пристроить к мастерской две комнаты, где он с тех пор и жил холостяком. Жаль, конечно, красивый господский дом; госпожа Верагут с семилетним Пьером занимала лишь верхний этаж, она хотя и принимала посетителей и гостей, но многолюдное общество не собирала никогда, и целый ряд помещений год за годом пустовал.

Маленький Пьер был не только любимцем обоих родителей и единственным связующим звеном меж отцом и матерью, благодаря которому сохранялись хоть какие-то отношения между господским домом и мастерской; собственно говоря, он был также единственным хозяином и собственником Росхальде. Господин Верагут обитал исключительно в своей мастерской и вокруг лесного озерца, а также в давних лесных охотничьих угодьях, жена его хозяйничала в большом

доме, ей принадлежали лужайка, липовая и каштановая рощи, и каждый из них появлялся на территории другого лишь изредка и как гость, если не считать трапез, которые художник вкушал большей частью в господском доме. Один лишь маленький Пьер не признавал это разграничение жизни и раздел территории, даже вряд ли о них догадывался. И в старом, и в новом доме он чувствовал себя одинаково беззаботно, в мастерской и в отцовской библиотеке – так же уютно, как в коридоре и картинной галерее господского дома или в комнатах маменьки; ему принадлежали земляника в каштановой роще, цветы под липами, рыбы в лесном озерке, купальня, гондола. Он ощущал себя хозяином и подопечным маменькиных горничных, а равно и папенькина камердинера Роберта, был сыном хозяйки дома для гостей матери и сыном художника для господ, которые порой приходили в папенькину мастерскую и говорили по-французски, а карандашные, живописные и фотографические портреты мальчика висели и в спальне отца, и в старом доме, в оклеенных светлыми обоями комнатах маменьки. Пьеру жилось очень хорошо, даже лучше, нежели детям, чьи родители живут в добром согласии; воспитание его не подчинялось никакой программе, и если на маменькиной территории у него иной раз земля горела под ногами, он находил надежное прибежище возле лесного озера.

Мальчик давно уже спал, а после одиннадцати в большом доме погасло последнее освещенное окно. И вот в это время, за полночь, Йоханн Верагут один пешком возвращался из города, где провел со знакомыми вечер в ресторане. По пути, в тепловатой, облачной ночи начала лета, атмосфера вина и дыма, разгоряченного смеха и дерзких шуток развеялась, он глубоко вдыхал чуть упругий, влажный и теплый ночной воздух, сосредоточенно шагая по дороге, окаймленной уже высоко поднявшимися хлебами, навстречу Росхальде, деревья которого безмолвной недвижимой массой высились на фоне блеклого ночного неба.

Он миновал ворота усадьбы, но входить не стал, взглянул на господский дом, чей фасад благородно и маняще светлел на фоне черной стены деревьев, всмотрелся в эту прекрасную картину с удовольствием и с отчужденностью случайного путника, затем прошел еще несколько сотен шагов вдоль высокой живой изгороди, до того места, где устроил себе проход и проложил тайную лесную тропинку к мастерской. В напряженных чувствах крепкий невысокий мужчина шел через мрачный, одичалый парк к своему жилищу, которое вдруг явилось его взору там, где темные кроны над водоемом как бы широко расступились, открыв тусклое серое небо.

Средь полной тишины озерцо виделось почти черным, слабый свет лежал на воде, будто бесконечно тонкая пленка или мельчайшая пыль. Верагут посмотрел на часы – без малого час ночи. Отпер боковую дверь маленькой постройки, ведущую в жилую комнату. Там он зажег свечу и быстро разделся, вышел нагишом на воздух и по широким отлогим каменным ступеням медленно спустился в воду, которая на миг взблеснула у его колен легкими мелкими кругами. Он нырнул, немного отплыл от берега, неожиданно почувствовал усталость после непривычного вечера, повернул обратно и, не вытираясь, вернулся в дом. Накинул мохнатый купальный халат, стряхнул воду с коротких волос и босиком поднялся по лесенке в мастерскую, просторное, почти пустое помещение, где несколькими нетерпеливыми движениями немедленно включил все электрические лампы.

Он поспешил к мольберту, на котором стоял маленький холст, работа последних дней. Уперев руки в колени, наклонясь, стал перед картиной и устремил широко открытые глаза на поверхность, свежие краски которой отражали яркий свет. Постоял так две-три минуты, в безмолвном созерцании, пока вся работа вплоть до последнего мазка вновь не ожила перед его взором; за долгие годы он взял в привычку накануне рабочих дней ложиться в постель, непременно унося с собой в сон образ картины, над которой как раз работал. Затем погасил свет, взял свечу и пошел в спальню, где на двери висели грифельная дощечка и мел. «Разбудить в семь, в девять – кофе», – написал он четкой латиницей[2 - То есть не принятым в Германии готическим шрифтом.], закрыл за собою дверь и лег в постель. Минуту-другую неподвижно лежал с открытыми глазами, усилием воли вызвав в памяти образ своей работы. Насытившись им, закрыл ясные серые глаза, тихонько вздохнул и быстро погрузился в сон.

Утром Роберт разбудил Верагута в назначенное время, он тотчас встал, в маленьком подсобном помещении умылся над раковиной с холодной проточной водой, надел грубый, изрядно застиранный костюм из серого полотна и прошел в мастерскую, где камердинер уже поднял тяжелые жалюзи. На небольшом столике стояли тарелка с фруктами, графин с водой и ломоть ржаного хлеба, который художник задумчиво взял в руку и надкусил, отойдя к мольберту и глядя на свою картину. Расхаживая по мастерской, он еще раз-другой откусил хлеба, взял со стеклянной тарелки несколько черешен, заметил на столике письма и газеты, но оставил их без внимания, как замороженный, сразу же устроился на складном стуле перед своей работой.

Небольшая, широкого формата картина изображала раннее утро, вроде того, какое художник видел несколько недель назад в поездке и запечатлел в ряде набросков. Он тогда остановился на маленьком постоялом дворе на Верхнем Рейне, хотел навестить в тех местах коллегу, но не застал его, провел унылый дождливый вечер в дымном трактире и скверную ночь в сырой комнатухе, пропахшей известкой и гнилью. Разгоряченный и в дурном расположении духа он еще до рассвета пробудился от неглубокого сна и, обнаружив, что двери постоялого двора пока на замке, через трактирное окно выбрался наружу, рядом, на берегу реки, отвязал лодку и выгреб на еще сонную, ленивую реку. А когда уже собирался повернуть обратно, увидел, как от противоположного берега навстречу ему тоже плывет гребец, слегка трепещущий холодный свет молочно-дождливого рассвета обтекал темные контуры, и рыбацья лодка казалась не в меру большой. Внезапно до глубины души пораженный и зачарованный этим зрелищем и странным освещением, художник перестал грести, дал незнакомцу приблизиться, тот остановил лодку у поплавок, отмечавшего место лова, и вытащил из прохладной воды вентерь. В нем оказались две широкие, тускло-серебристые рыбыны, на миг обе влажно взблеснули над серой рекой, а затем с чавкающим шлепком упали в лодку рыбака. Верагут тотчас окликнул рыбака, попросил его обождать, съездил за рисовальными принадлежностями и сделал акварельный набросок; он задержался еще на день, писал этюды и читал, а наутро спозаранку снова делал у реки эскизы, потом отправился дальше; с тех пор его снова и снова занимала и мучила мысль о картине, пока не обрела форму, и вот теперь он уже который день трудился не покладая рук и уже почти закончил работу. Больше всего он любил писать при ярком солнце или же в теплом, рассеянном лесном и парковом освещении, поэтому текучая серебряная прохлада картины стоила ему больших усилий, однако ж создала и новый колорит, вчера он окончательно нашел удачное решение и теперь чувствовал, что перед ним хорошая, необычная работа, которая не просто запечатлела мгновение и превосходно его отобразила, нет, здесь мгновение пробило стеклянную поверхность равнодушного загадочного бытия природы, позволяя ощутить могучее необузданное дыхание реальности.

Пристальным взглядом художник всматривался в картину, оценивал оттенки палитры, которая почти вовсе не походила на его обычную и едва ли не полностью утратила красные и желтые тона. Вода и воздух были завершены – по поверхности растекался знобко-холодный, неприятный свет, кусты и береговые сваи тенями плыли во влажном, блеклом сумраке, нереальная и расплывчатая замерла в воде грубая лодка, лицо рыбака было призрачно и безмолвно, лишь его спокойно протянутая за рыбой рука преисполнена неумолимой реальности.

Одна рыбина, поблескивая, выпрыгивала через борт лодки, другая лежала плоская и недвижимая, а ее открытая круглая пасть и испуганно застывшие глаза полнились тварной скорбью. Все было холодно и до жестокости печально, однако покойно, неприкосновенно и лишено всякой символики, кроме самой простой, без которой произведение искусства существовать не может и которая позволяет нам не только чувствовать, но и с неким сладостным удивлением любить гнетущую непостижимость всей природы.

Художник просидел за работой часа два, когда камердинер постучал в дверь и после рассеянного отклика хозяина вошел с завтраком. Тихонько расставил на столике кофейник, сливочник, чашку и тарелку, аккуратно подвинул стул, молча подождал секунду-другую, затем осторожно произнес:

– Кофе, господин Верагут.

– Иду, – отозвался художник, стирая большим пальцем мазок, только что нанесенный кистью на хвост выпрыгивающей рыбы. – Горячая вода есть?

Он вымыл руки и сел пить кофе.

– Набейте-ка мне трубку, Роберт, – бодро сказал он. – Маленькую, без крышки, она должна быть в спальне.

Камердинер вышел. Верагут с наслаждением пил крепкий кофе, чувствуя, как смутное предощущение обмана и неудачи, которое с недавних пор иной раз охватывало его после напряженной работы, тает словно утренний туман.

Он взял у камердинера трубку, раскурил от поднесенного огня и жадно вдохнул ароматный дым, который усиливал и обострял действие кофе. Потом кивнул на свою картину и сказал:

– Вы ведь в детстве ловили рыбу, Роберт, не правда ли?

– А как же, господин Верагут.

– Взгляните вон на ту рыбу, не на ту, что в воздухе, а на ту, что лежит с открытой пастью. Пасть написана правильно?

– Правильно, – неуверенно ответил Роберт. – Но вам лучше знать, чем мне, – добавил он укоризненным тоном, будто почуял в вопросе насмешку.

– Нет, уважаемый, неправда. То, что человеку положено, он со всей остротой и свежестью переживает лишь в ранней юности, лет до тринадцати-четырнадцати, и питается этим всю жизнь. Мальчиком я никогда не имел дела с рыбой, потому и спрашиваю. Ну так как, правильная у нее пасть или нет?

– Правильная, все на месте, – рассудил польщенный Роберт.

Верагут уже встал и снова принялся выверять свою палитру. Роберт смотрел на него. Он хорошо знал эту возникающую во взгляде сосредоточенность, от которой глаза делались едва ли не стеклянными, знал, что теперь и он, и кофе, и давешний короткий разговор, и все вообще уходит в этом человеке куда-то далеко-далеко и если окликнуть его через несколько минут, то он как бы пробудится от глубокого сна. Но это опасно. Роберт убрал со стола и заметил нетронутую почту.

– Господин Верагут! – сказал он вполголоса.

Художник был еще достижим. Враждебно и вопросительно оглянулся через плечо, точь-в-точь как утомленный, который уже засыпал, а его опять позвали.

– Тут письма. – С этими словами Роберт вышел.

Верагут нервно выдавил на палитру немного кобальта, бросил тюбик на обитый жестью столик, начал было смешивать, но оклик камердинера отвлекал, и в конце концов он отложил палитру и взял в руки письма.

Обычная деловая корреспонденция, приглашение участвовать в выставке, просьба газетной редакции сообщить кой-какие сведения из его жизни, счет... а затем – вид хорошо знакомого почерка всколыхнул в душе отрадную дрожь, он взял письмо и не спеша прочитал собственное имя и каждое слово адреса, с удовольствием рассматривая свободные, своенравно-энергичные росчерки. Потом постарался разобрать почтовый штампель. Марка была итальянская, так что письмо наверняка из Неаполя или из Генуи, а значит, его друг уже в Европе, уже совсем близко и через несколько дней будет здесь.

Растроганный, он вскрыл конверт и с удовлетворением увидел строгие порядки мелких ровных строчек. Если ему не изменяет память, уже лет пять-шесть эти редкие письма от друга из-за границы были для него единственной чистой радостью, единственной, помимо работы и часов, проведенных с малышом Пьером. И, как случалось всякий раз, им и сейчас посреди радостного предвкушения завладело смутное, тягостное чувство стыда, а вместе с ним осознание, сколь убога и безотраднa его жизнь. Он медленно прочитал:

Неаполь, 2 июня, ночью

Дорогой Йоханн!

Как обычно, глоток кьянти с жирными макаронами и вопли уличных торговцев возле трактира – первые знаки европейской культуры, к которой я вновь приближаюсь. Здесь, в Неаполе, за пять лет ничто не изменилось, не в пример Сингапуру или Шанхаю, и мне кажется, это добрый знак, что и дома все в порядке. Послезавтра мы будем в Генуе, там меня встретит племянник, и я поеду с ним к родне, где на сей раз не жду бурных изъявлений симпатии, ведь, честно говоря, за последние четыре года я не заработал и десяти талеров. На первые претензии семейства я отвожу четыре-пять дней, затем дела в Голландии, опять-таки, скажем, дней пять-шесть, так что у тебя я смогу быть примерно 16-го. Точнее сообщу телеграфом. Знаешь, мне хотелось бы остаться у тебя по крайней мере дней на десять-четырнадцать, помешать тебе в работе. Ты стал ужас как знаменит, и, если то, что ты лет двадцать назад говорил об успехе и славе, хотя бы отчасти справедливо, ты, наверно, здорово закоsnел и отупел. Я намерен и картины у тебя купить, а мои вышестоящие сетования на плохие дела – просто попытка сбить твои цены.

Мы становимся старше, Йоханн. В двенадцатый раз я плыл по Красному морю и впервые страдал от жары. Было 46 градусов.

Господи, старина, еще две недели! Приготовь несколько дюжин бутылок мозельского! Больше четырех лет минуло с нашей последней встречи.

Письмом можно застать меня между 9-м и 14-м в Антверпене, отель «Европейский». Если твои картины выставлены сейчас где-нибудь, где я окажусь проездом, пожалуйста, сообщи!

Твой Отто

Художник радостно перечитал короткое письмо, строки крепких, молодцеватых букв и темпераментных знаков препинания, достал из ящика письменного столика в углу календарь и, изучая его, удовлетворенно кивал головой. Очень кстати: до середины месяца более двух десятков его картин будут выставлены в Брюсселе. Стало быть, друг, острого взгляда которого он слегка побаивался и от которого едва ли укрылись неурядицы его жизни в последние годы, хотя бы получит о нем первое впечатление, каким можно гордиться. Это облегчало ситуацию. Он представил себе, как Отто, одетый с несколько излишним заморским шиком, идет по брюссельскому залу, рассматривая его картины, лучшие его картины, и на миг от души порадовался, что послал их на выставку, хотя на продажу предназначались из них лишь немногие. И он немедля написал письмецо в Антверпен.

«Отто ничего не забыл, – благодарно думал он, – последний раз мы и правда пили почти одно только мозельское, а однажды вечером даже закатили настоящую пирушку».

Поразмыслив, он пришел к выводу, что в погребке, который сам он навещал крайне редко, мозельского определенно не осталось, и решил сегодня же сделать заказ.

Засим Верагут вновь принялся за работу, однако был рассеян, взбудоражен и не мог вернуться к той чистой сосредоточенности, когда хорошие идеи являются сами, незванные. Он сунул кисть в стакан, положил письмо друга в карман и нерешительно вышел на воздух. Зеркальная гладь озера слепила глаза, летний день выдался погожий, и озаренный солнцем парк звенел несчетными птичьими голосами.

Он посмотрел на часы – Пьеровы утренние уроки, должно быть, уже закончились – и бесцельно зашагал через парк, рассеянно глядя на бурые, в пятнах солнечного света, дорожки, прислушиваясь к звукам большого дома, миновал площадку с качелями и песочницей, где любил играть Пьер. В конце концов он очутился возле кухонного огорода и на миг с легким интересом устремил взгляд ввысь, в кроны конских каштанов, в пышной тенистой листве которых еще виднелись последние радостно-светлые свечи цветов. Пчелы с набегавшим волнами тихим жужжанием роились над множеством

полураскрытых розовых бутонов живой изгороди, сквозь темную листву деревьев долетело несколько ударов маленьких забавных часов на башенке большого дома. Время они отбивали неправильно, и Верагут опять подумал о Пьере, ведь тот полагал своей главной мечтой и делом чести когда-нибудь, когда вырастет, отремонтировать старинные куранты.

Тут за живой изгородью послышались голоса и шаги; в солнечном воздухе сада они приглушенно и мягко слились с жужжанием пчел и песнями птиц, с медленно плывущим в воздухе ароматом дикой гвоздики и цветущей фасоли. То были его жена и Пьер, и Верагут остановился, внимательно прислушиваясь.

– Они еще не поспели, придется тебе денек-другой подождать, – сказала маменька.

Смеющийся мальчишечий голосок что-то прошептал в ответ, и в исполненном ожидания летнем покое безмятежный зеленый мир парка и мягкие, прозрачные звуки детского говора на мимолетно-нежный миг показались художнику явившимися из далекого сада его собственного детства. Он шагнул к живой изгороди и сквозь ветви заглянул в сад: его жена в утреннем пеньюаре стояла на солнечной дорожке, с цветочными ножницами в руке и легкой коричневой корзинкой на локте. Шагах в двадцати от изгороди, не больше.

Секунду художник смотрел на нее. Высокая фигура с серьезным и разочарованным видом склонилась к цветам, большая мягкая соломенная шляпа целиком затеняла лицо.

– Как называются вон те цветы? – спросил Пьер. Солнце играло в его каштановых волосах, голые ноги, худые и загорелые, стояли на свету, а когда он нагибался, в широком вороте блузы пониже загорелой шеи виднелась белая спина.

– Гвоздики, – сказала мать.

– Да, я знаю, – продолжал Пьер, – но хорошо бы узнать, как их называют пчелы. На пчелином языке у них ведь, наверно, тоже есть название.

– Конечно, но мы его не знаем, оно известно только самим пчелам. Может быть, эти цветы называются у них медовыми.

Пьер задумался.

– Нет, – решительно сказал он. – В клевере меда ничуть не меньше, и в настурциях тоже, не могут же они все цветы называть одинаково.

Мальчик пристально наблюдал за пчелой, которая летала вокруг цветка гвоздики, трепеща крылышками, замерла над ним в воздухе, а затем жадно нырнула в розовую пещерку.

«Медовые цветы!» – пренебрежительно подумал он, не говоря больше ни слова. Он давно знал, что как раз самое красивое и интересное ни знать, ни объяснить невозможно.

Стоя за изгородью и слушая, Верагут смотрел на спокойное, серьезное лицо жены и красивое, нежное, не по годам серьезное личико своего любимца, и сердце его замерло при мысли о тех годах, когда его первый сын был вот таким же ребенком. Он потерял и его, и его мать. Но потерять этого малыша не желал, нет, не желал. Лучше уж воровски подслушивать его из-за изгороди, подманывать и привлекать к себе, но если и этот мальчик отвернется от него, тогда ему, отцу, больше незачем жить.

Он тихонько отступил прочь по травянистой дорожке и продолжил путь под деревьями.

«Праздные прогулки не для меня», – сердито подумал он и постарался взять себя в руки. Вернулся в мастерскую и, преодолевая неохоту, повинувшись привычной многолетней рутине, восстановил напряженный рабочий настрой, который не позволяет сбиться с пути и направляет все силы на необходимое именно сейчас.

К обеду его ждали в большом доме, и около полудня он тщательно оделся. Побритый, вычищенный, в голубом летнем костюме, он выглядел не то чтобы моложе, но свежее и гибче, нежели в небрежной рабочей одежде, какую носил в мастерской. Он взял соломенную шляпу и как раз собрался открыть дверь, когда она сама распахнулась ему навстречу и вошел Пьер.

Верагут наклонился к мальчику, поцеловал его в лоб.

– Как дела, Пьер? Учитель был молодцом?

– Да, только он очень скучный. Если что-нибудь рассказывает, то не для веселья, а опять же как урок, и в конце всегда выходит, что послушные дети должны вести себя так-то и так-то... Ты писал, папа?

– Да, рыб, знаешь ли. Скоро закончу, и завтра ты все увидишь.

Он взял мальчика за руку и вышел с ним на воздух. Ничто на свете так его не радовало и так не будоражило в нем всю сокровенную доброту и беспомощную нежность, как ощущение, что он идет рядом с сыном, приноравливаясь к его маленьким шажкам и держа в своей легкой, доверчивую руку ребенка.

Когда парк остался позади и они шли через лужайку под тонкими плакучими березками, малыш оглянулся и спросил:

– Папа, а бабочки тебя боятся?

– Почему? Вряд ли. Недавно одна довольно долго сидела у меня на пальце.

– Да, но сейчас их нет. Когда я иной раз иду к тебе совсем один, то в этом месте на дорожке всегда много-много бабочек, я знаю, они называются голубянки, и они меня знают, всегда порхают вокруг, совсем рядом со мной. А кормить бабочек можно?

– Можно, конечно, в следующий раз обязательно попробуем. Надо капнуть на ладонь меду и спокойно вытянуть руку, бабочки непременно прилетят и станут пить мед.

– Замечательно, папа, давай попробуем. Ты ведь скажешь маме, чтобы она дала мне немножко меда, да? Тогда она будет знать, что он мне вправду нужен и что это не глупая забава.

Пьер первым вбежал в открытые двери дома и поспешил дальше по широкому коридору, и меж тем как его ослепший после яркого света отец еще искал в прохладном сумраке шляпную стойку и нащупывал дверь столовой, мальчик давно уже был в комнате и осаждал маменьку своей просьбой. Художник вошел,

подал руку жене. Она была чуть выше его, крепкая, здоровая, но без юношеской живости, и, хотя уже не любила мужа, однако до сих пор считала утрату его нежности печально непостижимым, незаслуженным несчастьем.

- Можно садиться за стол, - сказала она, по обыкновению спокойно, - Пьер, ступай вымой руки!

- Вот тебе новость, - начал художник, протянув ей письмо своего друга. - Скоро приедет Отто, и я надеюсь, погостит у нас достаточно долго. Ты ведь не против?

- Господин Буркхардт может занять две нижние комнаты, там ему никто не помешает, он может приходить и уходить когда вздумается.

- Вот и отлично.

- Я думала, он приедет гораздо позже, - помедлив, добавила жена.

- Он выехал раньше, до сегодняшнего дня я тоже об этом не знал. Ну да тем лучше.

- Просто здесь будет еще и Альбер.

Легкая радость стерлась с лица Верагута, голос стал холодным, когда он услышал имя сына.

- Что с Альбером? - нервно вскричал он. - Он же собирался со своим другом в Тироль.

- Я не хотела говорить тебе, пока нет необходимости. Его друга пригласили родственники, и от пешего похода он отказался. Альбер приедет, как только начнутся каникулы.

- И все время будет здесь?

- Думаю, да. Я могла бы на неделю-другую уехать с ним, но тебе это будет неудобно.

– Почему? Я бы взял Пьера к себе.

Госпожа Вергут пожала плечами:

– Прошу тебя, не начинай! Ты же знаешь, я не могу оставить Пьера здесь одного.

Художник рассердился.

– Одного! – воскликнул он. – Он не один, когда находится со мной.

– Я не могу оставить его здесь и не хочу. Бесплезно сызнава спорить об этом.

– Разумеется, ты не хочешь!

Он умолк, так как вернулся Пьер, и все пошли обедать. Мальчик сидел между двумя отчужденными людьми, оба ухаживали за ним и развлекали, как он привык, и отец старался затянуть обед, потому что потом малыш останется при маменьке и, может статься, больше не зайдет сегодня в мастерскую.

Глава вторая

В комнатухе подле мастерской Роберт отмывал палитру и пучок кистей. Неожиданно в открытых дверях появился маленький Пьер. Остановился и стал смотреть.

– Грязная работа, – объявил он немного погодя. – Вообще, писать картины, конечно, здорово, но мне совершенно не хочется стать художником.

– Ну, ты еще подумай хорошенько, – сказал Роберт. – Отец-то у тебя знаменитый художник.

– Нет, – решительно произнес мальчик, – это не для меня. Ходишь все время грязный, и пахнут краски ужас как сильно. Немножко понюхать мне очень нравится, например, когда картина совсем новая, когда она висит в комнате и

совсем чуть-чуть пахнет краской, но в мастерской, это уж слишком, у меня голова разболится.

Камердинер испытующе посмотрел на него. Вообще-то он давно хотел высказать избалованному мальчику свое мнение, ведь ему было в чем его упрекнуть. Но когда Пьер приходил сюда и Роберт смотрел ему в лицо, как-то язык не поворачивался. Малыш был такой свеженький, хорошенький и серьезный, будто в нем и с ним все в полном порядке, и как раз эта легкая нотка барской надменности или не по годам большого ума странным образом весьма ему шла.

– А кем ты, собственно, хочешь быть, дружок? – спросил Роберт с некоторой строгостью.

Пьер опустил взгляд и задумался.

– Ах, вообще-то никем в особенности, знаешь ли. Только хотел бы закончить школу. А летом хотел бы носить только совсем белое платье и белые башмаки, и чтоб на них никогда не было ни единого пятнышка.

– Вон оно что, – с укором сказал Роберт. – Это ты сейчас так говоришь. А давеча, когда был у нас, все твое белое платье мигом оказалось в пятнах от вишен и травы, а шляпу ты вовсе потерял. Помнишь?

Пьер холодно прищурил глаза до узеньких щелочек и смотрел сквозь длинные ресницы.

– За это мама тогда сильно меня выбранила, – медленно проговорил он, – и я не думаю, чтобы она поручила тебе мучить меня напоминаниями об этом.

Роберт уже пошел на попятный:

– Хочешь, стало быть, всегда ходить в белом и не пачкаться?

– Ну, иногда. Ты совершенно меня не понимаешь! Конечно, иногда мне хочется поваляться в траве или в сене, или прыгать через лужи, или залезть на дерево. Это же ясно. Но когда я пошумлю и немного побалуюсь, мне совсем не хочется, чтобы меня ругали. Мне хочется просто тихонько пойти к себе в комнату, надеть

чистое, свежее платье и чтобы все опять было хорошо... Знаешь, Роберт, я правда думаю, что ругаться никак не стоит.

- Тебя бы это устроило, да? Почему же?

- Ну, сам посуди: если сделаешь что-нибудь нехорошее, то ведь и сам быстро понимаешь и стыдишься. Когда меня бранят, я стыжусь гораздо меньше. А иногда бранят, когда я вообще ничего плохого не делал, просто оттого, что сразу не пришел, когда позвали, или оттого, что маменька в дурном настроении.

- А ты сложи-ка все вместе, мой мальчик, - рассмеялся Роберт, - ведь плохого-то, чего никто не видит и за что никто тебя не бранит, ты делаешь ничуть не меньше.

Пьер не ответил. Всегда одно и то же. Только заговоришь с взрослым о чем-нибудь, что тебе вправду важно, как все непременно кончается разочарованием, а то и унижением.

- Я бы хотел еще разок увидеть картину, - сказал он тоном, который тотчас отдалил его от слуги и который Роберт мог счесть как просительным, так и властным. - Пусти меня на минутку в мастерскую, а?

Роберт подчинился. Отпер дверь мастерской, впустил Пьера и вошел сам, потому что ему было строго-настрого запрещено оставлять там кого-нибудь в одиночестве.

Посредине большого помещения стояла на мольберте хорошо освещенная, вставленная во временную золотую раму новая картина Верагута. Пьер стал перед нею. Роберт - у него за спиной.

- Тебе нравится, Роберт?

- Понятное дело, нравится. Я ж не дурак!

Пьер, прищурясь, смотрел на картину.

– Если бы мне показали много-много картин, – задумчиво сказал он, – я бы тотчас увидел, есть ли среди них папенькина. Эти картины мне потому и нравятся, я чувствую, что их написал папа. Хотя вообще-то они нравятся мне не совсем.

– Не говори глупости! – испуганно вскричал Роберт, с укоризной глядя на мальчика, который по-прежнему неподвижно, мигая ресницами, стоял перед картиной.

– Видишь ли, – сказал он, – в большом доме есть несколько старых картин, вот они нравятся мне куда больше. Позднее я себе заведу такие. Например, горы, когда солнце заходит и все совершенно алое и золотое, и хорошенькие детишки, и женщины, и цветы. Это ведь куда милее, чем этакий старый рыбак, у которого по-настоящему даже лица нет, и скучная черная лодка, да?

В глубине души Роберт полностью разделял его мнение и подивился искренности мальчика, которая, сказать по правде, его обрадовала. Но он не подал виду.

– Ты еще толком не понимаешь, – коротко сказал он. – Пойдем, надобно опять запереть мастерскую.

В этот миг со стороны большого дома неожиданно донесся шум – пыхтение и хруст.

– Ой, автомобиль! – радостно воскликнул Пьер, выскочил вон и помчался под каштанами, наперекор всем запретам прямо по лужайкам, перепрыгивая через цветочные клумбы. Запыхавшись, он выбежал на засыпанную гравием площадку перед домом, как раз когда из автомобиля вышли его отец и какой-то незнакомый господин.

– Привет, Пьер! – вскричал папа, заключив его в объятия. – К нам приехал дядюшка, который тебе незнаком. Подай ему руку и спроси, откуда он.

Мальчик не сводил глаз с незнакомца. Подал ему руку, всмотрелся в загорелое лицо и светлые, веселые, серые глаза.

– Откуда ты приехал, дядюшка? – послушно спросил он.

Незнакомец подхватил его на руки.

– Малыш, какой ты стал тяжелый! – воскликнул он, бодро вздохнув, и поставил Пьера наземь. – Откуда я? Из Генуи, а прежде из Суэца, а еще прежде из Адена, а еще прежде из...

– О, из Индии, я знаю, знаю! Ты – дядюшка Отто Буркхардт. Ты привез мне тигра или кокосовые орехи?

– Тигр от меня сбежал, но кокосовые орехи ты получишь, а вдобавок ракушки и китайские картинки.

Они вошли в дом, и Верагут повел Буркхардта вверх по лестнице. Он ласково положил руку на плечо друга, который был изрядно выше его. В верхнем коридоре им навстречу вышла хозяйка дома. Она тоже с умеренной, но искренней сердечностью приветствовала гостя, чье оживленное, пышущее здоровьем лицо напомнило ей невозвратные веселые времена минувших лет. Буркхардт на миг задержал ее руку в своей, всмотрелся в ее лицо.

– Вы ничуть не постарели, госпожа Верагут, – с похвалой воскликнул он, – не то что Йоханн.

– И вы несколько не изменились, – приветливо ответила она.

Он рассмеялся:

– О да, фасад по-прежнему цветущий, но от танцев я все же мало-помалу отказался. Они и без того ни к чему не привели, я по-прежнему холост.

– Надеюсь, на сей раз вы приехали подсмотреть себе невесту.

– Нет, сударыня, с этим я уже опоздал. Да и не хочу испортить себе удовольствие от прекрасной Европы. Как вам известно, у меня много родни, и я мало-помалу превращаюсь в эдакого богатого дядюшку. С женой я бы не рискнул появиться на родине.

В комнатах госпожи Верагут накрыли кофе. Пили кофе с ликером, беседовали – о морском путешествии, о каучуковых плантациях, о китайском фарфоре. Художник поначалу молчал и был несколько подавлен, в этих комнатах он не бывал уже много месяцев. Но все шло хорошо, и в присутствии Отто в доме словно бы воцарилась более легкая, более радостная, более ребячливая атмосфера.

– Думаю, моя жена хотела бы теперь немного отдохнуть, – наконец сказал художник. – Я покажу тебе твои комнаты, Отто.

Они откланялись и спустились вниз. Верагут приготовил для друга две гостевые комнаты и обо всем устройстве позаботился сам, расставил мебель и не забыл ничего, от картин на стенах до книг на полке. Над кроватью висела старая, поблекшая фотография, забавно трогательный институтский снимок семидесятых годов. Она бросилась гостю в глаза, и он подошел поближе, чтобы рассмотреть ее.

– Господи, – с удивлением воскликнул он, – это же мы в ту пору, все шестнадцать! Старина, ты меня растрогал. Я лет двадцать не видел эту фотографию.

Верагут улыбнулся:

– Я так и думал, что тебе понравится. Надеюсь, здесь найдется все необходимое. Хочешь сразу распаковать вещи?

Буркхардт вальяжно уселся на огромный, с медными уголками морской рундук и с удовольствием обвел взглядом комнату.

– Как здесь хорошо. А где ты обитаешь? Рядом? Или наверху?

Художник потеревил ручку кожаной сумки и просто сказал:

– Нет. Я теперь живу подле мастерской. Пристройку поставил.

– После непременно покажешь. Но... ты что же, и ночуешь там?

Верагут оставил сумку, повернулся к нему:

– Да, там и ночью.

Его друг задумчиво молчал. Потом вытащил из кармана большую связку ключей, которые громко забренчали.

– Давай-ка немножко распакуем, а? Если хочешь, сходи за мальчуганом, он получит удовольствие.

Верагут вышел и вскоре вернулся с Пьером.

– Какие у тебя красивые чемоданы, дядюшка Отто, я их уже рассмотрел. И столько наклеек на них. Несколько я прочитал. На одной написано – Пинанг. Что это такое – Пинанг?

– Это город в Индокитае, где я иногда бываю. На-ка, держи, можешь отпереть вот этот.

Он вручил мальчику плоский ключ с множеством бородок и позволил отпереть замки одного из чемоданов. Потом подняли крышку, и первое, что лежало сверху и бросалось в глаза, была перевернутая вверх дном неглубокая корзинка пестрого малайского плетения, ее вытащили и освободили от бумаги, а внутри, меж бумаги и тряпок, обнаружили сказочно красивые ракушки, какие можно купить в экзотических портовых городах.

Пьер получил ракушки в подарок и притих от счастья, а за ракушками последовал большой слон эбенового дерева, и китайская игрушка со смешными подвижными деревянными фигурками, и, наконец, свиток ярких, красочных китайских картинок, с божествами, демонами, царями, воинами и драконами.

Пока художник помогал восхищенному мальчику рассматривать все эти вещи, Буркхардт распаковал кожаную сумку и распределил в спальне по местам ночные туфли, белье, щетки и тому подобное. Затем он вернулся к отцу и сыну.

– Ну вот, – ободряюще сказал он, – на сегодня поработали достаточно. Теперь настал черед удовольствий. Не сходить ли нам в мастерскую?

Пьер поднял глаза и снова, как возле автомобиля, с удивлением всмотрелся в оживленное, радостно помолодевшее лицо своего отца и с похвалою воскликнул:

- Какой ты веселый, папа!

- О да, - кивнул Верагут.

Друг его, однако, спросил:

- Он что же, обычно не такой веселый?

Пьер смущенно переводил взгляд с одного на другого.

- Не знаю, - неуверенно сказал он. Потом засмеялся и решительно добавил: - Нет, таким веселым ты еще никогда не бывал.

С корзинкой ракушек он убежал. Отто Буркхардт взял друга за локоть и вместе с ним вышел на воздух. Они зашагали через парк и в конце концов добрались до мастерской.

- Н-да, немало пристроили, - сказал Буркхардт, - кстати, выглядит весьма мило. Когда ты все это сделал?

- Года три назад, кажется. Мастерскую я тоже расширил.

Буркхардт огляделся по сторонам.

- Этому озеру просто цены нет! Вечерком надо будет немножко поплавать. Благодать у тебя тут, Йоханн. Но сейчас я должен увидеть мастерскую. Есть новые картины?

- Не много. Но одну, я только позавчера ее закончил, ты непременно должен увидеть. По-моему, она хороша.

Верагут отпер дверь. В высоком помещении было по-праздничному чисто, пол свежесвыскоблен, все разложено по порядку. Посредине одиноко стояла новая картина. Молча они остановились перед нею. Влажно-холодная, вязкая атмосфера пасмурного, дождливого раннего утра совершенно не вязалась с ясным светом и жарким, напоенным солнцем воздухом, что вливался в открытую дверь. Оба долго рассматривали работу.

- Это последняя написанная тобой?

- Да. Рама нужна другая, в остальном делать больше нечего. Нравится?

Друзья испытующе смотрели друг на друга. Высокий и сильный Буркхардт с его свежим лицом и теплыми, жизнерадостными глазами, словно большой ребенок, стоял перед безвременно поседевшим художником, который сверлил его острым и строгим взглядом.

- Пожалуй, это лучшая твоя картина, - медленно проговорил гость. - Я видел те, что выставлены в Брюсселе, и еще две в Париже. Никак не думал, но за несколько лет ты шагнул далеко вперед.

- Рад слышать. И сам тоже так думаю. Я старался, и иногда мне кажется, что раньше я, собственно говоря, был всего лишь дилетантом. Работать по-настоящему научился поздно, но вот теперь вполне овладел умениями. Дальше, пожалуй, уже не шагну. Ничего лучше этого не смогу написать.

- Понимаю. Ну да ведь ты снискал и большую известность, даже на наших старых восточноазиатских пароходах я слышал разговоры о тебе и весьма возгордился. Так какова же она на вкус, известность? Радует тебя?

- Я бы не сказал, что радует. Скорее она в порядке вещей. Среди нынешних художников найдется два-три-четыре таких, что, пожалуй, превосходят меня и могут дать больше, чем я. К совсем уж великим я себя никогда не причислял, а что там говорят литераторы, так это, конечно, полная чепуха. Я могу требовать серьезного к себе отношения и, когда меня воспринимают всерьез, вполне доволен. Все прочее - газетная слава или вопрос денег.

- Н-да. Но что ты имеешь в виду, говоря о совсем уж великих?

– Как что? Королей и князей. Наш брат становится генералом или министром, и это предел. Видишь ли, мы лишь умеем быть прилежными и относиться к природе со всей возможной серьезностью. Короли же, они природе братья и товарищи, они играют ею и способны сами творить там, где мы лишь копируем. Впрочем, короли – редкость, не каждое столетие рождает хотя бы одного.

Они расхаживали по ателье. Художник, подыскивая слова, напряженно смотрел в пол, друг шел рядом, пытаясь читать в загорелом, худом, костистом лице Йоханна.

У двери в соседнюю комнату Отто остановился.

– Открой-ка, – попросил он, – дай мне увидеть комнаты. И угости сигарой, ладно?

Верагут отворил дверь. Они прошли через комнату, заглянули в соседние. Буркхардт закурил сигару. Заглянул в маленькую спальню друга, увидел кровать, внимательно осмотрел все скромные помещения, где повсюду лежали инструменты живописи и курительные принадлежности. Обстановка едва ли не скудная, и говорила она о трудах и аскезе, примерно как маленькое жилище бедного, работающего холостяка.

– Вот, значит, где ты обосновался! – сухо обронил он. Но видел и чувствовал все, что происходило здесь в минувшие годы. С удовлетворением отметил предметы, связанные со спортом, гимнастикой, верховой ездой, однако был огорчен отсутствием малейших признаков уюта, мало-мальского комфорта и гедонистического досуга.

Засим они вернулись к картине. Стало быть, вот так возникли картины, что висели повсюду на выставках и в галереях на почетных местах и стоили больших денег; они создавались здесь, в этих комнатах, которым ведомы лишь труд и самоотречение, где не найдешь ничего праздничного, ничего бесполезного, ни милых безделушек и иных мелочей, ни аромата вина и цветов, ни воспоминания о женщинах.

Над узкой кроватью пришпилены две фотографии без рамок – на одной малыш Пьер, на другой Отто Буркхардт. Тот, конечно, сразу заметил плохонький любительский снимок, он был изображен в тропическом шлеме, на фоне веранды своего индийского дома, но ниже груди все расплывалось в загадочные

белые полосы, потому что пластинка оказалась засвечена.

– Мастерская теперь очень красивая. И вообще, ты сделался таким прилежным! Дай руку, дружище, как славно вновь видеть тебя! А сейчас я устал и потому на часок исчезну. Заглянешь ко мне попозже? Искупаемся и погуляем? Вот и ладно, спасибо. Нет, мне ничего не требуется, через час я опять буду all right[3 - В порядке (англ.)]. До встречи!

Он не спеша пошел прочь под сенью деревьев, а Верагут, провожая друга взглядом, думал о том, какая уверенность и спокойная жизнерадостность исходит от его фигуры, от походки, от каждой складки одежды.

Буркхардт меж тем был уже в большом доме, однако у своих комнат не задержался, прошел дальше, к лестнице, поднялся наверх и постучал к госпоже Верагут.

– Я помешал или могу ненадолго составить компанию?

Она с улыбкой впустила его, и эта мимолетная, непривычная улыбка на крупном, тяжелом лице показалась ему странно беспомощной.

– Чудесно здесь, в Росхальде. Я уже побывал в парке и на озере. А Пьер как вырос! Прелестный ребенок, я едва не пожалел, что остался холостяком.

– Мальчик хорош собой, не правда ли? Как вы находите, он похож на моего мужа?

– Немножко, да. Хотя, пожалуй, все-таки больше чем немножко. В таком возрасте я Йоханна не знал, но довольно хорошо помню, каким он был в одиннадцать-двенадцать лет... Кстати, он кажется немного переутомленным. Простите? Нет, я о Йоханне. В последнее время он очень много работал?

Госпожа Адель посмотрела ему в лицо, чувствуя, что ему хочется выпросить ее.

– Думаю, да, – спокойно ответила она. – Он очень редко говорит о своей работе.

– Что он сейчас пишет? Пейзажи?

– Он часто работает в парке, большей частью с натурщиками. Вы видели его картины?

– Да, в Брюсселе.

– Он выставил свои работы в Брюсселе?

– Разумеется, и довольно много. Я привез с собой каталог. Дело в том, что я хочу купить одну из его картин и с удовольствием послушал бы ваше мнение.

Буркхардт подал ей брошюру и указал на одну из маленьких репродукций. Она рассмотрела изображение, перелистала брошюру и вернула ему.

– Придется вам положиться на собственное мнение, господин Буркхардт, мне эта картина незнакома. Думаю, он написал ее минувшей осенью в Пиренеях и сюда вообще не привозил. – Она помолчала и заговорила о другом: – Вы сделали Пьеру столько подарков, так мило с вашей стороны. Спасибо.

– О, пустяки. Но позвольте мне и вам тоже вручить на память азиатские сувениры. Хотите? Я привез кой-какие ткани, которые с удовольствием покажу вам, и вы сами выберете то, что вам понравится.

Буркхардт сумел превратить ее вежливые отнекивания в небольшую шутивно-галантную словесную баталию и привести неприступную женщину в доброе расположение духа. Из своей сокровищницы он принес целую охапку индийских тканей, раскинул малайские батйки и материи ручной работы, разложил на спинках и подлокотниках кресел кружева и шелка, оживленно рассказывал, где приметил и купил то-то и то-то, почти за бесценок, – словом, устроил веселый пестрый базарчик. Спрашивал ее мнения, набрасывал кружево ей на руки, объяснял, как оно сделано, и уговаривал развернуть самые красивые ткани, пощупать, похвалить и, наконец, принять в подарок.

– Полноте, – в конце концов рассмеялась она, – я же пушу вас по миру! Никак нельзя мне оставить себе все.

– Не беспокойтесь, – тоже со смехом отозвался Буркхардт. – Недавно я опять высадил шесть тысяч каучуковых деревьев и вскоре поистине стану набобом.

Когда Верагут пришел за ним, он нашел обоих за живейшей беседой. С удивлением отметил словоохотливость жены и после тщетной попытки включиться в разговор несколько неуклюже принялся рассматривать подарки.

– Оставь, это же дамские штучки, – воскликнул его друг, – пойдём-ка лучше купаться! – И увлек Верагута на воздух.

– Твоя жена в самом деле ничуть не постарела, с тех пор как я видел ее последний раз, – начал Отто по дороге. – Вот только что она была куда как весела. Значит, у вас все более-менее в порядке? Недостает только старшего сына. Что он подделывает?

Художник пожал плечами и нахмурился:

– Ты его увидишь, он приедет на днях. Я ведь писал тебе.

Он вдруг остановился, наклонился к другу, пристально посмотрел ему в глаза и тихо сказал:

– Ты все увидишь, Отто. Говорить об этом нет нужды. Сам все увидишь... Будем веселиться, пока ты здесь, старина! А теперь идем к озерцу, хочу опять поплавать с тобой наперегонки, как в детстве.

– А что, давай, – кивнул Буркхардт, словно бы не замечая нервозности Йоханна. – И ты победишь, дорогой мой, хотя раньше побеждал не всегда. Увы и ах, но я вправду обзавелся брюшком.

Свечерело. Озерцо целиком лежало в тени, высоко в кронах деревьев играл легкий ветерок, а по синеве узкого небесного островка, который оставался открыт над водою, летели легкие лиловые облачка, все одинаковой формы, братской вереницей, тонкие, продолговатые, как листья ивы. Мужчины стояли перед спрятанной в кустах раздевальной кабинкой, замок которой никак не открывался.

– Бог с ним, с замком! – воскликнул Верагут. – Проржавел вконец, мы кабинкой не пользуемся.

Он начал раздеваться, Буркхардт последовал его примеру. Когда оба уже готовые стояли на берегу и на пробу окунули пальцы ног в спокойную, тенистую воду, на них обоих тотчас сладко повеяло счастьем далеких мальчишечьих лет, на миг они замерли, предвкушая легкую, восхитительную дрожь купанья, и в их душах тихонько раскрылась светлая зеленая долина летних месяцев ранней юности, так что оба умолкли и, непривычные к нежным чувствам, едва ли не смущенно погрузили ноги поглубже, наблюдая искристый бег полукружий на буро-зеленой глади. Буркхардт быстро шагнул в воду.

– Ах, как хорошо, – с наслаждением выдохнул он. – Кстати, мы оба пока парни хоть куда, если не считать моего брюшка, вполне молодцы.

Сделав несколько гребков, он встряхнулся и нырнул.

– Ты сам не знаешь, как тебе повезло! – с завистью воскликнул он. – На моих плантациях протекает очень красивая река, но если сунешь в воду ногу, больше ты эту ногу не увидишь. Окаянные крокодилы там кишмя кишат. Ну, вперед, за большой кубок Росхальде! До лестницы и обратно. Готов? Раз... два... три!

С шумным плеском оба поплыли, смеясь, в умеренном темпе, но дуновение садовой юности еще не развеялось, и скоро они всерьез принялись соперничать, лица напряглись, глаза засверкали, руки, взблескивая, широкими взмахами взлетали из воды. Одновременно они достигли лестницы, одновременно опять оттолкнулись и тем же путем устремились обратно, теперь художник сильными гребками вырвался вперед, опередил соперника и добрался до берега чуть раньше.

Переводя дух, они стояли в воде, протирали глаза и в безмолвной радости смеялись, глядя друг на друга, и обоим казалось, что лишь теперь они вновь старые товарищи и лишь теперь маленькая фатальная пропасть непривычности и отчуждения меж ними начинает исчезать.

Одевшись, оба, посвежевшие и умиротворенные, сидели на плоских каменных ступенях лестницы, спускавшейся к озеру. Смотрели на темное водное зеркало, которое по другую сторону овальной бухты, окруженной навесом густых зарослей, уже тонуло в исчерна-буром сумраке, прямо из коричневого бумажного пакета ели мясистые светло-красные черешни, принесенные камердинером, с чистым сердцем встречали наступающий вечер, меж тем как

горизонтальные лучи низкого солнца светили сквозь чащу стволов и золотистыми огоньками играли на прозрачных крыльях стрекоз. Не умолкая и не задумываясь, целый час болтали о школьных временах, об учителях и тогдашних одноклассниках и кем стал тот или другой из них.

– Господи, – сказал Отто Буркхардт спокойно-бодрым голосом, – как же давно это было. Не знаешь, что случилось с Метой Хайлеман?

– О-о, Мета Хайлеман! – с жаром подхватил Верагут. – Ничего не скажешь, красивая девушка. У меня во всех тетрадях были ее портреты, которые я на уроках тайком рисовал на промокашках. Волосы мне никогда толком не удавались. Помнишь, она заплетала косы и укладывала их двумя толстыми баранками на ушах.

– Ты что-нибудь о ней знаешь?

– Ничего. Когда я первый раз вернулся из Парижа, она была помолвлена с неким адвокатом. Я встретил ее и ее брата на улице и, помнится, очень разозлился, оттого что сразу покраснел и, несмотря на усы и парижскую искушенность, снова почувствовал себя мальчишкой-школьником... Только вот звали ее Мета! Я терпеть не мог это имя!

Буркхардт мечтательно покачал круглой головой.

– Ты был недостаточно влюблен, Йоханн. Для меня Мета звучало как музыка, по мне, так ее могли бы звать и Евлалией, я бы все равно шагнул в костер ради одного ее взгляда.

– О, я тоже был предостаточно влюблен. Однажды, когда я возвращался домой после нашей вечерней прогулки – я нарочно припозднился, хотел побыть один и думать только о Мете, больше ни о чем, и меня ничуть не трогало, что дома ждет наказание, – она неожиданно вышла навстречу, возле круговой стены. Шла она под руку с подружкой, а поскольку я вдруг невольно представил себе, как бы все было, окажись я вместо этой дурехи под руку с нею, близко-близко, голова у меня закружилась, я вконец растерялся и на миг привалился к стене, а когда наконец явился домой, дверь уже заперли, пришлось звонить в звонок и потом целый час сидеть под арестом.

Буркхардт улыбнулся, думая о том, что оба они при нечастых своих встречах уже не раз вспоминали Мету. Тогда, в юности, они старательно и хитро скрывали друг от друга свою любовь, и лишь взрослыми людьми спустя годы приоткрывали порой завесу тайны и делились мелкими переживаниями. И все же в этом деле до сих пор существовали секреты. Вот и сейчас Отто Буркхардту невольно вспомнилось, что он тогда несколько месяцев бережно хранил перчатку Меты, которую нашел или, точнее, похитил, а его друг поныне даже не подозревал об этом. Может быть, рассказать ему? – подумал он, но в конце концов лукаво улыбнулся и решил, что лучше оставить это маленькое последнее воспоминание при себе.

В пронизанной солнечным светом беседке с западной стороны мастерской сидел Буркхардт, он удобно откинулся назад в желтом плетеном кресле, сдвинул широкополую панаму на затылок, курил и читал журнал, а неподалеку на низком складном стульчике устроился перед мольбертом Верагут. Он уже набросал крупными, уверенными мазками фигуру читающего и теперь писал лицо; вся картина радовала глаз светлыми, легкими, напоенными солнцем, но гармоничными тонами. В воздухе стоял пряный дух масляных красок и дыма гаванской сигары, птицы, затаясь в листве, порой, как обычно в полдень, негромко щебетали, напевно, дремотно-мечтательно переговариваясь друг с другом. Пьер сидел в траве, с большой географической картой, по которой его тонкий указательный палец совершал задумчивые путешествия.

– Не спать! – напомнил художник.

Буркхардт прищурился и, с улыбкой глядя на него, покачал головой.

– Где ты сейчас, Пьер? – спросил он у мальчика.

– Погоди, сейчас прочту, – бойко отозвался Пьер и по слогам прочитал на карте: – В Лю... в Лю... в Люцерне. Там озеро или море. Оно больше нашего, дядюшка?

– Намного больше! Раз в двадцать! Тебе надо непременно там побывать.

– Да, конечно. Когда у меня будет автомобиль, я поеду в Вену, и в Люцерн, и на Северное море, и в Индию, туда, где твой дом. А ты тогда будешь дома?

– Разумеется, Пьер. Я всегда дома, когда ко мне приезжают гости. Сперва мы навестим мою обезьяну, ее зовут Пендек, у нее нет хвоста, зато есть белоснежные бакенбарды, а потом возьмем ружья, поплывем на лодке по реке и застрелим крокодила.

Стройная фигурка Пьера весело покачивалась из стороны в сторону. А дядюшка тем временем рассуждал о расчистке малайских джунглей и говорил так красиво и так долго, что мальчик в конце концов притомился и перестал следить за рассказом. Он рассеянно изучал свою карту, а вот отец его с все большим вниманием слушал говорливого друга, который с непринужденным удовольствием рассказывал о трудах и охоте, о конных и лодочных вылазках, о красивых местных деревушках из легкого бамбука, об обезьянах, цаплях, орлах, бабочках, и его спокойная, уединенная жизнь в тропическом лесу представляла столь соблазнительной и уютной, что художнику казалось, будто он сквозь щелку заглядывает в изобильные, многоцветно-прекрасные, блаженные райские кущи. А друг все рассказывал – о тихих величавых реках среди джунглей, о высоких, как деревья, зарослях папоротников, о привольных ветреных равнинах, заросших высокой, в рост человека, травой лаланг, о красочных вечерах на морском берегу, откуда открывается вид на коралловые острова и синие вулканы, о неистовых ливнях и пламенных грозах, о мечтательно-живописных сумерках знойных дней на просторных тенистых верандах белых плантаторских домов, о лабиринте улочек в китайских городах и о вечернем отдыхе малайцев у мелководного каменного бассейна перед мечетью.

Вновь, как уже иной раз случалось, фантазия Верагута бродила на далекой родине друга, и он знать не знал, насколько этот соблазн и тихая чувственность его души созвучны скрытым умыслам Буркхардта. Не только сверканье тропических морей и островных побережий, изобильность лесов и рек, живописность полуголых дикарей рождали в нем тоску и пленяли своими образами. Намного больше его привлекали отдаленность и покой мира, где все его страдания, заботы, борения и лишения станут ему чужды, отступят вдаль и поблекнут, где душа стряхнет сотни мелких будничных тягот и его примет новая атмосфера, где нет ни вины, ни страдания.

Послеполуденные часы уходили один за другим, тени двигались, становились длиннее. Пьер давно убежал, Буркхардт мало-помалу умолк и в конце концов задремал, но картина была почти готова, и художник ненадолго закрыл усталые глаза, опустил руки и минуту-другую с почти болезненной алчностью впивал глубокую солнечную тишь этого часа, близость друга, умиротворенную

усталость после удачной работы и расслабленность истомленных нервов. Наряду с хмельным восторгом начала и беспощадного труда такие минуты давным-давно стали для него самым глубоким и самым утешительным наслаждением, тихие минуты усталой расслабленности, напоминающие спокойно-дремотные бессознательные состояния меж сном и пробуждением.

Он тихонько встал, чтобы не разбудить Буркхардта, и бережно отнес холст в мастерскую. Снял холщовый рабочий халат, вымыл руки и ополоснул холодной водой слегка перенапряженные глаза. Четверть часа спустя он снова вышел на воздух, секунду-другую испытующе вглядывался в лицо спящего гостя, а потом разбудил его давним свистом, который они еще двадцать пять лет назад уговорились считать своим тайным сигналом и опознавательным знаком.

– Коли ты выспался, дружище, – ободряющим тоном попросил он, – то мог бы сейчас еще немножко рассказать мне о дальних странах, ведь за работой я мог слушать только вполуха. Ты еще упомянул о фотографиях; если они у тебя с собой, можно ли их посмотреть?

– Конечно, можно, идем!

Этого часа Отто Буркхардт ждал уже несколько дней. Много лет он мечтал когда-нибудь заманить Верагута с собой в Восточную Азию и удержать его там при себе хотя бы на время. На сей раз, поскольку ему казалось, что другого случая более не представится, он заранее тщательнейшим образом все продумал. И теперь, в свете гаснущего дня, когда оба, сидя в комнате Буркхардта, говорили об Индии, он доставал из чемодана все новые альбомы и папки с фотографиями. Художник был восхищен и удивлен их обилием, Буркхардт же оставался спокоен и словно бы не придавал особенного значения множеству снимков, но втайне все-таки с огромным напряжением ждал их воздействия.

– Какие чудесные снимки! – восклицал Верагут в полном восторге. – Ты все сделал сам?

– Отчасти, – сухо отвечал Буркхардт, – некоторые сделаны моими тамошними знакомыми. Просто мне хотелось дать тебе хоть самое малое представление о краях, где мы живем.

Он сказал это как бы невзначай, равнодушно складывая фотографии в стопки, и Верагут даже заподозрить не мог, как заботливо и старательно он приготовил свое собрание. Долгие недели он не расставался с молодым английским фотографом из Сингапура, а затем с японцем из Бангкока, и в ходе множества вылазок и путешествий повсюду – от моря до глухих дебрей – они отыскивали и запечатлели все мало-мальски красивое с виду и примечательное, затем фотографии были аккуратно проявлены и напечатаны. Они были Буркхардтовой приманкой, и он с глубоким волнением наблюдал, как его друг клюнул на нее и попался. Он показывал снимки домов, улиц, деревень, храмов, фотографии сказочных пещер Бату[4 - Пещеры Бату – крупнейший за пределами Индии индуистский храмовый комплекс (Малайзия).] близ Куала-Лумпура и экзотически красивых изломов известняковых и мраморных гор в районе Ипоха[5 - Ипох – город в нынешней Малайзии.], а когда Верагут порой спрашивал, не найдется ли там и фото аборигенов, он извлекал снимки малайцев, китайцев, тамилы, арабов, яванцев, полуобнаженных портовых атлетов-кули, тощих старых рыбаков, охотников, крестьян, ткачей, торговцев, красавиц в золотых украшениях, стаяк темнокожих голых ребятишек, рыбаков с сетями, сакхао[6 - Сакхао – народность во Вьетнаме.] в серьгах, с носовыми свистульками и яванских танцовщиц, увешанных серебром. У него были снимки всевозможных пальм, крупнолистных сочных бананов, уголков джунглей с тысячами лиан, священных храмовых рощ и черепаших прудов, водяных буйволов на сырых рисовых полях, дрессированных слонов на работах и диких слонов, игравших в воде, вскинув к небу трубящий хобот.

Художник брал в руки снимок за снимком. Многие он, бросив на них мимолетный взгляд, откладывал в сторону, иные сравнивал друг с другом, отдельные фигуры и головы рассматривал очень внимательно. О многих фотографиях спрашивал, в какое время дня они сделаны, вымерял тени и все глубже уходил в задумчивое созерцание.

– Все это можно бы написать, – рассеянно пробормотал он однажды сам себе.

Но в конце концов со вздохом вскричал:

– Довольно! Ты еще столько всего непременно мне расскажешь. Как чудесно, что ты здесь! Я снова вижу все совсем иначе. Идем, прогуляемся часок, хочу показать тебе кое-что совершенно прелестное.

Оживленный и стряхнувший усталость, Верагут потянул Буркхардта за собой, по проселочной дороге, в поля, навстречу возвращающимся домой возам с сеном. Он с наслаждением вдыхал теплый густой запах скошенной травы, и неожиданно прилетело воспоминание.

– Помнишь, – смеясь спросил он, – лето после моего первого семестра в Академии, когда мы вместе жили в деревне? Я тогда писал сено, одно только сено, помнишь? Две недели изо всех сил старался написать несколько копешек на горном лугу, а никак не получалось, цвет мне не давался, приглушенный матово-серый, в общем сенной! И когда я все-таки его поймал – сперва в довольно грубом приближении, но уже понял, что смешивать его надо из красного и зеленого, – я так возликовал, что не видел ничего, кроме сена. Ах, замечательная штука, такие вот первые пробы, поиски и находки!

– Да уж, век живи, век учишься, – вставил Отто.

– Верно. Но те вещи, что мучают меня теперь, не имеют с техникой ничего общего. Знаешь, уже который год я все чаще замечаю, что, глядя на какой-нибудь ландшафт, вдруг невольно думаю о своей ранней юности. Все тогда выглядело по-иному, и мне бы хотелось когда-нибудь это написать. Иногда минуту-другую я видел словно бы как в ту пору, все вдруг снова обретало удивительный блеск... но ведь этого мало. У нас хватает хороших художников, людей тонких, деликатных, которые изображают мир таким, каким он видится умному, скромному старику. Но нет ни одного, что пишет мир таким, каким видит его свежий взгляд самоуверенного, породистого мальчугана, ну а те, кто делает подобные попытки, в большинстве просто плохие ремесленники.

В задумчивости художник сорвал на краю поля розовато-голубую скабиозу и с минуту неотрывно смотрел на нее.

– Тебе надоело? – вдруг спросил он, как бы очнувшись, и подозрительно взглянул на друга.

Отто молча улыбнулся ему.

– Знаешь, – продолжал Верагут, – одна из картин, какие мне еще хотелось бы написать, это букет полевых цветов. Надо тебе сказать, моя маменька умела собирать изумительные букеты, я никогда больше не видел ничего подобного, в

этом деле она была поистине гений. По натуре сущий ребенок, она почти все время напевала, ходила легкой походкой, в большой коричневатой соломенной шляпе, во сне я всегда вижу ее такой. И мне хотелось бы написать именно такой букет полевых цветов, какие она любила: скабиозы, и тысячелистник, и мелкие розовые вьюнки, а среди них несколько красивых травинок и зеленый колосок овса. Я приносил домой сотни букетов, но пока что не составил правильного, в котором собран весь аромат, как в составленном маменькой. Ей, например, не нравился белый тысячелистник, она всегда выбирала изящный, редкий, с оттенком лилового, по полдня перебирала тысячи трав, пока наконец решалась взять одну... Ах, я не умею сказать, ты не понимаешь.

- Отчего же, понимаю, - кивнул Буркхардт.

- Н-да, об этом букете полевых цветов я иной раз думаю чуть не полдня. Я точно знаю, какой должна быть моя картина. Не пресловутым фрагментом природы, который подмечен зорким наблюдателем и опрощен умелым, ловким художником, но и не сентиментально-благостным, как у так называемого художника-краеведа. Картина должна быть совершенно наивной, как бы увиденной глазами одаренного ребенка, нестилизованной и полной простоты. Картина с туманом и рыбами, что стоит в мастерской, как раз диаметрально ей противоположна - надобно уметь и то и другое. Ах, мне хочется написать еще так много, так много!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Морген – немецкая земельная мера (0,25 га). – Здесь и далее примечания переводчика.

2

То есть не принятым в Германии готическим шрифтом.

3

В порядке (англ.).

4

Пещеры Бату – крупнейший за пределами Индии индуистский храмовый комплекс (Малайзия).

5

Ипох – город в нынешней Малайзии.

6

Сакхао – народность во Вьетнаме.

Купити: <https://telnovel.me/german-gesse/roshal-de>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)